

«ТОСКОВАТЬ И ХАНДРИТЬ Я НАЧАЛ, ПРАВО, ЧУТЬ ЛИ НЕ С 14 ЛЕТ»: КОРПУС ПИСЕМ АП. ГРИГОРЬЕВА В СВЕТЕ ИСТОРИИ ЭМОЦИЙ

Зоя Гусева

УДК: 8+80+
82+821.161.1.

Ключевые слова:
Ап. Григорьев, письма, эмоции,
меланхолия, травелог.

Аннотация

Статья посвящена анализу эпистолярного наследия Аполлона Григорьева. Обзор корпуса писем критика позволяет предположить, что проявление эмоций в нем неразрывно связано с типичным для романтизма мировоззрением автора, частично сформированном условиями его жизни (постоянная бедность, страдания от неразделенной любви, одиночество, периферийное положение в литературе при признанном таланте), а частично — созданном им самим. Отличительными особенностями эпистолярия Григорьева является соединение в нем нескольких типов дискурса и обращение к традициям разных литературных жанров.

“I began to yearn and mope almost from the age of 14 indeed”: Ap. Grigoryev's Corpus of Letters in Focus of the History of Emotions

Zoia Guseva

Keywords:

Ap. Grigoryev, letters, emotions, melancholy, travelogue.

Abstract

The article is devoted to the analysis of the epistolary heritage of Apollon Grigoriev. A review of the corpus of the critic's letters suggests that the manifestation of emotions in them is inextricably related to Grigoryev's worldview, that was typical for Romanticism and partly formed by his living conditions (constant poverty, suffering from unrequited love, loneliness, peripheral position in literature while having an acknowledged talent), partly created by himself. Distinctive features of Grigoryev's epistolary are that they combine several types of discourse and appeals to the traditions of different literary genres.

Корпус писем Аполлона Григорьева охватывает период с 1842 по 1864 год, то есть со времени окончания университета и до смерти. Эпистолярное наследие критика — наименее исследованная часть его творчества. Неоднозначная репутация и целенаправленное отстранение Григорьева от центральных изданий оказали влияние на характер первых исследований, которые были посвящены в основном его художественным и критическим текстам [Шах-Паронианц 1899: 129–135]. Кроме того, недостаточная изученность переписки Григорьева объясняется тем, что на ее публикацию ушло более ста лет: своего архива поэт не оставил, письма приходилось разыскивать, их значительная часть утеряна. Тем не менее сохранившиеся документы — ценный материал для анализа истории чувств, который может служить источником для реконструкции части эмоциональной матрицы эпохи.

Основной массив эпистолярного корпуса критика составляют письма, которые условно можно назвать деловыми. Большинство из них адресовано профессору Московского университета и редактору журнала «Москвитянин» М.П. Погодину. Постоянно нуждаясь в деньгах, Григорьев часто обращается к друзьям и издателям с просьбой дать ему в долг, что само по себе становится причиной переживаний и не всегда дается легко: в одном из писем Погодину [Григорьев 1999: 19] он признается, что много раз «давал себе заклятие» не занимать у людей, которых он уважает. Но другого выхода нет, и критику снова и снова приходится брать в долг. Часто это усугубляется неудачами в литературной деятельности: журналы отказываются публиковать его статьи¹, работа, которую дает Погодин, воспринимается не как служение искусству, а как поденщина. Таким образом, зачастую Григорьев оказывается лишен всего, что он определяет для себя как самое важное в труде: свободы, веры в дело и желания этому делу служить. Все это становится причиной постоянного недовольства собой, ощущения безысходности своего положения [Григорьев 1999: 26, 47, 60, 71].

1. Так, например, в 1860 г. М.Н. Катков отказывается публиковать в «Русском вестнике» критическую статью Григорьева «Краткий послужной список на память моим старым и новым друзьям»; в том же году редакция «Московских ведомостей» отклоняет полемическую статью «Дело о “Русском вестнике” и его антагонистах. Письмо к редактору “Московских ведомостей”» [Виттакер 2020: 330–331]. Л.М. Шах-Паронианц отмечает, что в последние годы жизни критика «редакции, в своем полном подчинении наиболее распространенным в то время идеям, из опасения прослыть ретроградными органами, наотрез отказывали Григорьеву в помещении его статей в своих изданиях <...>. Аполлону Александровичу не оставалось ни одного журнала, где бы он свободно мог проводить в общество свои литературные идеи» [Шах-Паронианц 1899: 100–101].

Несмотря на все трудности, критик сохраняет верность своему идеалу труда: «Я умру с голоду, прежде чем отдать кому-либо хоть частицу того, что я и Островский считаем нашим исповеданием — ибо, твердо верю, тут только настоящая правда, правда в меру, правда не из личных источников вышедшая. Пусть я слаб, как ребенок, иногда пусть я падоk на всякие жизненные увлечения — но никакой слабости и никакому увлечению не отдам я того, что считаю правдою» [Григорьев 1999: 127]. Деловые письма по-своему интересны и представляют несомненную ценность для исследователей биографии писателя, однако главным предметом нашего рассмотрения будут не они, а дружеская, интимная переписка Григорьева, в большей степени отражающая его эмоциональное состояние.

Мемуары Григорьева содержат свидетельства о том, что будущий критик с детства отличался болезненной чувствительностью. Он вспоминает, например, следующий случай: «...нарыдавшись инстинктивно, я, прежде чем идти к отцу просить за отправленного в часть Василья или Ивана, смотрелся в зеркало, достаточно ли вид у меня расстроен» [Григорьев 1980: 18]. Описанный эпизод показывает, что юный Аполлон был расположен к бурному проявлению чувств, воспринимал их как нечто естественное. При этом он не ограничивался переживаниями, а претворял их в действия: например, жалость побуждала его просить за дворовых. Важно отметить, что Григорьев не только не стеснялся обнаруживать свою чувствительность перед другими людьми, но и делал это специально: приведенная цитата свидетельствует и о способности к манипуляции. Видимо, уже тогда он осознавал, что его собственное эмоциональное состояние может служить инструментом воздействия на окружающих. Пристальное внимание к проявлению собственных эмоций, попытки определить их, понять их природу характерны и для зрелого Григорьева. Особенно ярко проявляется это в письмах поэта из Италии.

Поездку в Европу еще в начале 1857 г. Григорьеву предложил Погодин. Поэт должен был отправиться в заграничное путешествие с семьей князей Трубецких в качестве воспитателя юного И.Ю. Трубецкого. Путешествие продолжалось четырнадцать месяцев и проходило по маршруту Штеттин — Берлин — Прага — Вена — Венеция². Жизнь за границей вызывала у Григорьева противоречивые чувства.

2. Маршрут приводится по книге Б.Ф. Егорова [Егоров 2000: 139].

О том, что «душа славянофильствующего интеллигента принимала на Западе далеко не все» [Егоров 2000: 139], можно судить по письмам: несмотря на первые положительные впечатления от путешествия, отъезд, разлука с друзьями, невозможность непосредственно влиять на судьбу «Москвитянина», которая очень волновала Григорьева, задают эмоциональный регистр писем этого периода.

Определяющее значение для итальянских писем Григорьева имеет меланхолия. К. Юханнисон пишет, что меланхолия может проявляться во множестве разных форм, точкой пересечения которых служит отсутствие или утрата кого- или чего-либо [Юханнисон 2011: 22]. Уже в начале XVIII в. меланхолия обретает в русской культуре значение не только психологического, но и чрезвычайно важного культурного явления. На протяжении нескольких столетий смысл этого понятия, отношение к нему авторов и читателей неоднократно изменялись: традиционное для XVIII в. восприятие меланхолии как «опасного душевного заболевания, заканчивающегося безумием» [Виницкий 1995: 4], в конце XVIII — начале XIX в. сменяется «культуром меланхолии», имевшим «все признаки (квази)религиозного ритуала» [Виницкий 1995: 9]. К концу 50-х гг. XIX в., когда Григорьев едет в итальянское путешествие, меланхолия понимается в русской литературе как нечто архаическое. В эпистолярном корпусе критика это душевное состояние, напротив, оказывается одним из ключевых. Меланхолическое чувство принимает в его письмах формы хандры, тоски, одиночества, скуки, ностальгии и т.д. Некоторые из них напрямую связаны с пребыванием за границей, другие же могут быть вызваны обращением к воспоминаниям. Возвращаясь к замечанию Юханнисон, мы можем сказать, что Григорьев, находясь в Италии, острее всего переживал оторванность от Родины, друзей, собеседников и единомышленников.

В письмах, которые критик писал, находясь в России, описание или упоминание чувств чаще всего лишь сопутствуют основному «деловому» содержанию. В его итальянских письмах эмоции часто оказываются главным предметом осмысления. Особенно важными становятся здесь фигура адресата и коммуникативный аспект жанра письма. Григорьев не просто письменно фиксирует свои эмоции, ему важна реакция собеседника. Кроме того, сообщение об одних и тех же чувствах в переписке поэта с разными людьми может преследовать разные цели: это и способ саморефлексии, и попытка найти в адресате участие, и оправдание поведения, которое сам поэт в душе считает недопустимым.

К итальянскому периоду относится большая часть переписки Григорьева с Е.С. Протопоповой. Эти письма представляют для нас особый интерес, поскольку именно в них поэт открыто говорит о сво-

их переживаниях, много рефлексировал. Григорьев и Протопопова познакомились в 50-х годах XIX в. в доме Я.И. Визарда. Григорьев был вхож в дом как сослуживец Визарда по Московскому воспитательно-му дому. Протопопова же брала уроки французского у жены хозяина дома и учила музыке их дочь Леониду, в которую был страстно влюблен Григорьев. Будучи старшей подругой своей ученицы, Протопопова много лет была свидетельницей драматической истории любви Григорьева и впоследствии стала его постоянной корреспонденткой.

Логично предположить, что Григорьев видел в Протопоповой связующее звено между ним и Л.Я. Визард, между своим безрадостным настоящим и недалеким прошлым, когда его надежда на счастье еще не угасла. Однако стратегии письма, которые использует Григорьев, свидетельствуют о том, что общение с Протопоповой ценно для него само по себе. На это он прямо указывает в своих письмах корреспондентке:

«Поймите, что я Бог знает как люблю Вас — люблю не за то только, что Вы для меня связаны с такою жизнью и с таким прошедшим, за которое отдал бы всю остальную жизнь — а собственно Вас люблю как друга, как сестру по душе...» [Григорьев 1999: 150].

Их переписка кажется довольно необычной для той эпохи. Григорьев делится самыми интимными переживаниями с женщиной, которая на протяжении нескольких лет оставалась для него только знакомой. Сам поэт определяет эти отношения как «женскую дружбу» [Григорьев 1999: 143] и неоднократно подчеркивает их важность для себя. Он чувствует душевное родство с Протопоповой, ищет в ней участия и поддержки.

Возможно, решение критика делиться сокровенными мыслями с confidentкой имело литературное объяснение: в основу ряда статей книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», в свое время очень впечатлившей молодого Григорьева³, легла переписка писателя с А.О. Смирновой. Их общение в этих письмах по большей части выстраивалось вокруг вопросов о вере. Как отме-

3. Прямое подтверждение этому мы видим в письме Григорьева к автору «Выбранных мест»: «Повторяю Вам — много и тяжело было передумано над Вашей книгой — и вероятно, не одним мною; я же лично, может быть, был приготовлен к ней моим собственным душевным настроением: не скрою от Вас и того, что несмотря на все негодование, навеянное на меня слухами о Вашей книге, меня лично неотразимо влекло к ней — именно то, что она всех почти привела в ярость, всех — даже людей, согласных, по-видимому, с Вами в основах мышления (как-то П<а>вл<о>ва), — одно убеждение проходило со мною через все фазисы мышления, убеждение, что истина есть только то, что сознается немногими, несколькими, одним, может быть, что истина всегда гонима и всегда на стороне гонимого» [Григорьев 1999: 30].

чает А.А. Карпов во вступительной статье к изданию писем Гоголя, писатель видел в Смирновой «душу, способную горячо отозваться его развивающимся религиозным настроениям» [Карпов 1988: 115]. Однако Гоголь не только сам делится с собеседницей своими мыслями, но и ждет от нее оценки, критического взгляда:

«Но скажите мне, разве я святой, разве я могу увидеть все свои мерзости? Для этого-то и существует истинно братская любовь, истинно братская помощь, чтобы указывать нам наши мерзости и помогать нам избавляться от них. За чем же вы не помогли мне, зачем же вы не указали их мне? Не стыдно ли вам?» [Гоголь 1952: 357].

Несмотря на отсутствие христианских коннотаций, тот идеал «женской дружбы», который создает для себя Григорьев, по своей сути близок «братской любви» в понимании Гоголя, поскольку также основывается на понимании и откровенности. Очень симптоматично, что именно Григорьеву принадлежит единственная в своем роде положительная рецензия на «Выбранные места...» — статья «Гоголь и его последняя книга» [Григорьев 1982: 106–126], впервые опубликованная в газете «Московский городской листок» в 1847 г.

Однако в жизни эта «женская дружба», о которой критик так много пишет, видимо, оказывалась односторонней. Понимание, о котором он говорил, не было взаимным: главный предмет писем Григорьева к Протопоповой составляли его собственные переживания. Иногда поэт оказывается даже слишком чувственен, чего потом стыдится. Так, письмо от 6–7 января 1858 г. написано им во время сильного приступа хандры и бессонницы. Несколько раз Григорьев бросает письмо, но не может уснуть, снова к нему возвращается и пишет обо всем, что его больше всего волнует: о своей несчастной любви к Визард, об одиночестве, о своих идеалах, которые его самого заставляют страдать, о «Москвитягине». Под конец он начинает довольно бесцеремонно расспрашивать Протопопову о ее чувствах, говорит о том, почему не хотел ее полюбить. На следующий день поэту становится стыдно за «безумный и больной бред лихорадки» [Григорьев 1999: 179] ночи, но он очень доверяет Протопоповой и потому не рвет письмо.

Ратуя за искренность, Григорьев, который, судя по всему, хорошо знал характер Протопоповой⁴, проявляет к ней не то равнодушие,

4. А.В. Булычева, говоря об особенностях характера Протопоповой, замечает, что та была склонна к сентиментальности и сочувствию обездоленным: «Среди любимых слов Екатерины Сергеевны были “сирота” и “сиротство”. Вспоминая о своих слезах в Пизе, Екатерина Сергеевна не преувеличивала — позднее любая грубость горничной заставляла ее проплакать часа четыре кряду и так и не наплакаться» [Булычева 2017: 57].

не то жестокость. Он не только позволяет себе грубость по отношению к собеседнице, но и распространяет на нее упреки, адресованные всем женщинам. Так, например, обсуждая в переписке с Протопоповой московских знакомых, критик пишет:

«Кстати о Максиме. О его страсти знал я прежде и не от него, конечно. Боюсь не погубила бы его задаром ваша Катерина Николоевна... Ведь вы все такая запуганная дрянь, что жертвы ни одна из вас, из самых лучших, не принесет для человека» [Григорьев 1999: 174].

В этом же письме Григорьев обвиняет Протопопову в том, что она недостаточно откровенна с ним:

«Что за гнусное безобразие умолчаний, намеков за несколько тысяч верст — а главное — какая свирепая, зверообразная жестокость не писать потому, что не можете себе в чем-то отдать отчета. Чорт знает, что это такое! Только женщины способны к такой белиберде...» [Григорьев 1999: 173]⁵.

Вероятно, в таком отношении к женщинам проявилась личная обида писателя на судьбу за неудачи в любви. Вместе с тем Григорьев отдает себе отчет в том, что откровенность, которая облегчает ему душу и за возможность которой он благодарен своей корреспондентке, для нее может быть мучительна, и пытается контролировать себя:

«...спешу кончить — пока опять не подошел прилив тоски, во время которого я обыкновенно эгоистически-безжалостно пользуюсь Вашей симпатией — первой и единственной женской симпатией, которой отдаешься без страха и ослепления...» [Григорьев 1999: 150].

Известно, что поэт очень остро ощущал любое проявление неравенства, когда оно касалось его самого. При описании сцены прощания с А.А. Фетом перед отъездом в Петербург Григорьеву важно заметить: «Мы квиты — мы равны» [Григорьев 1980: 93]. В исповедальном письме отцу он пишет:

5. Приведенные цитаты несут на себе отпечаток григорьевской «теории женщины», особенно отчетливо выведенной литератором в рассказе «Офелия». Согласно концепции автора, женщина не представляет из себя наполненной личности, пока ее не «создаст», не сформирует мужчина [Тахо-Годи, Середина 2016: 870], [Середина 2016: 221]. В связи с автобиографичностью прозы Григорьева есть основания предполагать, что «теория женщины» из рассказов проникла и в его собственное восприятие женщин и дружбы с ними.

«Мне не забыть одной, по-видимому, мелочной сцены: ко мне пришел Кавелин, человек, с которым я хотел быть по крайней мере — равным; мы сошли с ним в залу — Вы вышли и стали благодарить его за знакомство со мною — о Господи! верите ли Вы, что и теперь даже, при воспоминании об этом, мне делается тяжело...» [Григорьев 1999: 17].

Эти и другие случаи показывают, что Григорьеву было важно осознать, что он не хуже других, не уступает им. При этом в общении с Протопоповой критик не проявляет чуткости, их отношения оказываются асимметричными. В переписке он пытается выстроить с ней дружеские отношения, однако риторика этих писем близка любовной⁶. Из четырнадцати сохранившихся писем к Протопоповой лишь два написаны до отъезда поэта в Европу, но модус дальнейшей переписки задан уже в них. Так, Григорьев пишет Протопоповой:

«Вы — один из таких редких субъектов женского пола, которые никогда не ломаются. Тетка моя устраивает спектакль; веря в Вас, как всегда, т.е. по-старому, я почти дал за Вас слово, что Вы будете участвовать. От Вас зависит — обмануть мою твердую веру или подтвердить ее» [Григорьев 1999: 136].

Дружеский тон письма сочетается с попыткой воздействовать на адресата. Поэт хвалит Протопопову за прямоту, признает собеседницу благородным и честным человеком, но одновременно с этим — может быть, ненамеренно — ставит себя выше своей подруги, фактически лишая ее возможности выбора и заставляя поступить так, как того хотел бы он сам.

С.А. Дианин, биограф композитора А.П. Бородина, мужа Протопоповой, отмечает, что та отличалась «сентиментализмом» и чувствительностью:

«Очень добрая по природе, склонная к благотворительности всякого рода, Ек. С. зачастую проявляла эти свои качества в духе русской старины — любила окружать себя неудачливыми родственниками, приживалками...» [Дианин 2016: 48].

6. Приведем репрезентативный фрагмент из письма Григорьева к Протопоповой: «Знаете, за что я Вас так люблю, мой добрый, благородный друг женского пола? Вы — единственная женщина, с которой можно играть в эту сладкую и опасную игру, называемую женской дружбой... Причина этого, с одной стороны, в том глубоком и нежном уважении, которое Вы внушаете всему, что способно Вас понять, а с другой стороны — в Вашей артистической, т.е. немножко эгоистической, немножко слишком самообладающей, немножко даже ветренной природе. Знаю я, что и Вы меня любите, но знаете ли Вы, за что? — Именно за тот анализ, который то пугал, то волновал Вас» [Григорьев 1999: 143].

Можно предположить, что таким несчастным, нуждающимся в поддержке человеком казался Протопоповой и Григорьев. Но, судя по всему, для него это общение было важнее, чем для его корреспондентки. Как и друзья по «Москвитянину», Протопопова отвечала на письма редко, чем очень мучила Григорьева, который видел в ней близкого человека и, страдая от одиночества и хандры в Италии, очень нуждался в ее поддержке. Он то шутливо ругает ее за молчание, называя «бессовестной» и «коварным другом» [Григорьев 1999: 163], то взывает к ее сочувствию и умоляет написать хоть строчку. Потребность в диалоге с женщиной оказывается настолько острой, что, когда общение с Протопоповой на время прекращается, Григорьев начинает писать жене, о чем потом сообщает своей confidentке: «...мне так необходима беседа с женщиной, что когда, полгода не получая от Вас ни строки, я было отчаялся в Вас, — я принялся писать бесплодные проповеди к моей жене...» [Григорьев 1999: 184]. Григорьев не скрывает своей нелюбви к супруге, обвиняет ее в разврате и пьянстве, но письма к ней, эти «бесплодные проповеди», он пишет в первую очередь не для того, чтобы образумить ее, а для облегчения собственной души. Это успокоение литератор надеялся найти в общении с женщинами.

С. Кьеркегор в книге «Или — или», на которую ссылается Юханнисон, писал: «Многие... ищут сочувствия не столько для смягчения боли, сколько для того, чтобы их немного побаловали, чтобы с ними носились. Таким образом, они по сути рассматривают печаль как одно из жизненных удобств» [Кьеркегор 2011: 44]. Во многих случаях именно так выстраивает свою переписку с Протопоповой Григорьев. В письме от 1 сентября 1857 г. критик признается: «Пишу я к Вам, потому что опять хандрю, значит, нуждаюсь в душевных излияниях, сколь это ни подло и ни глупо» [Григорьев 1999: 142]. Несколько раз он замечает ей, как важна для него эта женская дружба, женская симпатия, что с ней он может поделиться тем, о чем не расскажет никому другому.

При том, что Григорьев, видимо, очень страдает, в письмах к Протопоповой он может иронизировать над своим страданием: «Хандра загрызла меня до того, что стало наконец просто невтерпез. Вот я воспользовался тремя праздничными днями и уехал в Сиенну испытать хандру уединенную под новым, более пикантным соусом» [Григорьев 1999: 176]. По мнению А.В. Алексеева, сплин и хандра как обозначения тоски или скуки — чисто романтический феномен, возникший в литературной традиции, созданной Байроном, и заимствованный русской поэзией начала XIX в. [Алексеев 2000: 106–107]. Соглашаясь с интерпретацией, предложенной Алексеевым,

мы рассматриваем их как свойства байронического мироощущения, а склонность Григорьева к разговору об этих чувствах — как стремление следовать романтической модели поведения.

В той или иной степени меланхолия проявляется во всех или почти всех письмах Григорьева из Италии, но, конечно, не всегда в форме душевных излияний, как в переписке с Протопоповой. В некоторых случаях критик упоминает о своей хандре, чтобы объяснить адресату свою возможную несдержанность и как бы дать самому себе право на грубость. Так, в марте 1858 г. Григорьев пишет Погодину письмо, которое, как кажется, скорее возникло под действием гнева, а не меланхолии. Тем не менее, предваряя критические замечания по поводу действий Погодина в отношении «Москвитянина», поэт объясняет: «Простите меня, я болен хандрою самую злющую и потому наговорю Вам и всем нашим много неприятного» [Григорьев 1999: 192].

Отличие писем Григорьева из Италии от корреспонденции, которую он ведет, находясь в России, обусловлено самой ситуацией путешествия: живя за границей, критик оказывается лишен возможности живого общения с привычным кругом знакомых, повседневные заботы уступают место новым впечатлениям. Смена обстановки и оторванность от рутинных дел требуют осмысления, и значительную часть высвободившегося в поездке времени Григорьев тратит на размышления. Это отражается и на характере писем, которые становятся более длинными и рефлексивными, и на эмоциональном состоянии писателя. Так, в письме Е.Н. Эдельсону он определяет свою итальянскую жизнь как череду лирических минут и хандры: «Вне лирических минут, которые дает мне новый все больше и больше мне раскрывающийся мир картинных галерей — со мною большею частью хандра безобразнейшая — и вопросы всякие ставятся все тяжелее и неуклоннее» [Григорьев 1999: 159].

В одном из затянувшихся посланий к Протопоповой поэт замечает: «Письмо приняло решительно вид дневника — ну, essay!..» [Григорьев 1999: 179]. Итальянские письма Григорьева действительно нередко выходят за рамки эпистолярного жанра. Помимо сходства с лирическим дневником, они несут в себе черты, характерные для травелога. Т. Роболи отмечает, что авторы нередко намеренно обращаются к эпистолярному дискурсу для описания путешествий, поскольку «эпистолярная обработка путешествия мотивирует свободный переход в нем от темы к теме» [Роболи 2007: 105]. Согласно подходу М.В. Строганова и Е.Г. Милюгиной, документальный текст следует считать травелогом, если, во-первых, его сюжетообразующим началом является описание или наличие маршрута путеше-

ствия и, во-вторых, если в нем выражаются личные впечатления автора, восприятие окружающей реальности как чужого, нового мира [Милюгина, Строганов 2013]. В письмах Григорьева из путешествия по Европе выполняются оба условия.

Литература путешествий, безусловно, привлекала Григорьева и являлась фоном для его переписки. Об этом свидетельствует, например, большой интерес критика к книге отца Парфения «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле» [Парфений 2008]. Еще до отъезда в Европу Григорьев много ссылается на это произведение в письмах к В.П. Боткину, в одном из которых резко критикует Н.Г. Чернышевского за «легкомысленный отзыв» [Григорьев 1999: 107] на «Сказание...». Позже поэт будет вспоминать: «Я был, разумеется, весь под влиянием этой удивительной книги, носился с нею, что говорится, “как курица с яйцом”» [Григорьев 1980: 152]. Он ставит «Сказание...» в один ряд с образцами русской паломнической литературы, считая, что корни книги отца Парфения следует искать в «хождении Барского, Трифона Коробейникова — и еще, еще дальше, в хождении паломника XII века игумена Даниила» [Григорьев 1980: 151]. «Сказанию о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле» Григорьев противопоставляет травелог А.Н. Муравьева «Путешествие ко святым местам русским» [Муравьев 1836]. О самом Муравьеве, его книге и взглядах критик отзывается уничижительно. Так, Эдельсону Григорьев пишет, что не может «без желчи слышать имя Андрюшки Муравьева...» [Григорьев 1999: 172], а А.Н. Майкова остерегает: «Только опять под видом веры — Бога ради, не увлекись православием Андрюшки Муравьева. Это мерзость несодеянная» [Григорьев 1999: 184]. Оба эти письма Григорьев пишет из Флоренции — вероятно, можно говорить о том, что, будучи увлеченным чужими травелогами, писатель вольно или невольно встраивает свои заграничные письма в традицию литературы путешествий.

Оказавшись в непривычной среде, путешественник встает в позицию наблюдателя. При этом сама окружающая реальность может быть не основным предметом изображения, а лишь фоном или импульсом для размышлений на волнующие автора темы. Авторское «я» выдвигается на первый план, определяя и особенности нарратива, и пространственную картину. Специфический парадокс травелога, проявившийся и в письмах Григорьева, заключается в том, что зачастую такие тексты полнее определяют отечество, а не за границу. Феномен знакомства с Родиной во время пребывания за рубежом описывает С.Ю. Бойм:

«Вовсе не удивительно, что национальное самосознание находит источник вдохновения за пределами сообщества, а не ищет его внутри. Это романтический путешественник, который созерцает издали целостность уходящего мира. Путешествие дает ему перспективу» [Бойм 2021: 28].

По мнению А.Л. Зорина, «чтобы увидеть и понять себя, путешественнику необходимо сконструировать эмоциональные сообщества, к которым он принадлежит и в которых отражается его душа» [Зорин 2016: 159]. Григорьев остается частью того сообщества, к которому он относился, живя в России, но вместе с тем входит в новые социально-культурные группы за границей, примеряя на себя роль иностранца. А. Шенле на материале книги П.И. Шаликова «Путешествие в Малороссию» показывает, что травелог может представлять ритуал социальной интеграции [Шенле 2004: 88–97]. На наш взгляд, такой характеристике отвечают и письма Григорьева, nasledующие традиции литературы путешествий. Однако полностью «интегрироваться» в новую среду автору не удается: жизнь в чужой стране кажется ему мучительной, он постоянно хандрит и испытывает одиночество в отрыве от близких людей и любимого дела. Зачастую неприятие у Григорьева вызывают и итальянская культура, и природа, за исключением моря, которое, по словам поэта, вознаграждало его за «людскую пошлость и мелочность», укрепляло его физические силы [Григорьев 1999: 141, 143].

Первым заграничным письмом Григорьева становится письмо к Погдину из Ливорно. Поэт подчеркивает, что отъезд в Италию был обусловлен не его выбором, а волей самого Погдина:

«Провидение имело через Вас благую цель услать меня на несколько времени куда-нибудь подальше. Если б мне предложили Вы тогда ехать в Гренландию, я бы точно так же охотно согласился, как согласился ехать в Италию...» [Григорьев 1999: 139].

Лишь обмолвившись о том, какое «огромление» было произведено на него «Прагой и Венецией да тремя морями» [Григорьев 1999: 139], Григорьев обращается к теме, которая станет одной из доминирующих в его последующих письмах: он говорит о «страшной мизерности души» европейцев [Григорьев 1999: 140].

Характерная для травелога риторика утрат присутствует в письмах Григорьева постоянно: это и тоска по друзьям и родным, и отсутствие близких по духу собеседников, и невозможность непосредственно влиять на жизнь «Москвитянина» и т.д. Во время итальянского карнавала Григорьев впадает в хандру, вспомнив русскую масленицу.

В то же время ностальгия может вызывать у него светлые чувства: поэт целует письмо Погодина о реформах Александра II, радуется своей русской одежде, пытается найти вокруг себя русских и русское.

Поскольку взгляды, оценки, способ чувствования и т.д. путешественника определены опытом, полученным на Родине, неизбежным оказывается столкновение этих знаний с приобретенными в новой, незнакомой среде. В.М. Гуминский говорит о постоянной оппозиции «своего» и «чужого» как об основополагающей черте любого путешествия, отмечая при этом, что сам путешественник «остается в “чужом” мире путешествия представителем “своего” мира» [Гуминский 2017: 4]. В письме от 8 ноября 1857 г. Григорьев пишет Погодину, что нужно быть чем-то обиженным Богом, чтобы для своего удовольствия жить не в отечестве. Он постоянно противопоставляет русских и итальянцев — в пользу русских, которым, в отличие от итальянцев, не свойственны «способность к копеечному сладострастию» и «мизерность души» [Григорьев 1999: 140]. При этом Григорьев тоскует не только по Родине, но и по давно ушедшим историческим эпохам, которых он даже не знал. Современные итальянцы представляются ему поверхностными, что особенно заметно на фоне великого прошлого. Так, в письме Эдельсону от 1 декабря 1857 г. Григорьев пишет: «Вот здесь на Западе <...> люди представляются мне все маленькими, маленькими муравьями, ползающими с мелочной работой по великим, громадным памятникам прошедшей жизни» [Григорьев 1999: 168]. Это вызывает у критика «ядовитую хандру», которую он воспринимает как болезнь. Такую тоску по давно ушедшим историческим временам Бойм определяет как ностальгию, говоря о том, что чувство ностальгии распространяется не только на пространство (в том числе покинутой родины), но и на время [Бойм 2021]. Вместе с тем раздражение Григорьева вызывают и соотечественники, находящиеся за границей. Он выделяет в этих путешественниках «два сорта богопротивной глупости» [Григорьев 1999: 170]: первые воспринимают без исключения все иностранное с благоговением, вторые приравнивают «наши Казанские соборы к великим отсадкам человеческого гения и исполинской мощи в памятниках Запада» [Григорьев 1999: 170]. Впрочем, граничащая с карикатурностью строгость в изображении русских людей за рубежом характерна не только для писем Григорьева, но и для многих произведений русской литературы, действие которых разворачивается за пределами отечества, в частности, для многих образцов русского травелога (роман И.С. Тургенева «Дым», проза М.Е. Салтыкова (Н. Щедрина) и т.д.).

Если письма из Италии при всей их меланхоличности еще имели за собой что-то светлое (страдающая от ностальгии и одиночества,

Григорьев понимает, что вернется на Родину; тоска из-за несчастной любви одновременно болезненна и приятна), то на последнем этапе жизни они уже гораздо более мрачные, в них нет прежнего лиризма, и воспоминания вызывают не сладкую боль, а ужас. Утратив прошлое, он не видит для себя ни настоящего, ни будущего. В марте 1862 г. Григорьев пишет своему ученику и последнему другу Н.Н. Страхову из Оренбурга, куда он бежал от проблем и где служил в кадетском корпусе:

«Я даже насильственно заглушал самые светлые воспоминания — и когда порой под аккорды гитары вставали они в душе все так же светлые, не потерявшие никаких своих прав над душою — мне становилось страшно... и я чувствовал, что увы! одно только глубокое, болезненное сожаление приковывает меня к моему настоящему миру, лишенному всякого разумного и нравственного значения...» [Григорьев 1999: 274].

Подобные суицидальные мотивы характерны прежде всего для романтической литературы. Как показывает И. Паперно, несмотря на то, что тема самоубийства стала популярной в отечественных литературе и философии конца XVIII — начала XIX вв., значительного влияния на культуру русского романтизма в целом она не оказала [Паперно 1999: 6]. Рассуждения Григорьева о самоубийстве демонстрируют, что он задумывается о серьезных вопросах, находится внутри того довольно узкого дискурсивного пространства, в котором в человеке ценятся размышления о собственной конечности и ограниченности своих возможностей.

Григорьев оказывается на стыке разных дискурсов: говоря о женской дружбе, поэт, возможно не отдавая себе в этом отчета, актуализирует дискурс, характерный для любовной переписки. Письма критика отличает тяготение к различным литературным жанрам, причем их границы нередко оказываются размыты. Так, дружеское письмо может содержать элементы письма любовного, а также переходить в травелог или лирический дневник, а письма, принимающие вид лирического дневника, ориентированы на рассмотрение внутренних переживаний автора, на постижение природы его чувств. А.Н. Ларионова отмечает, что обращение к эго-документам характерно и для художественных текстов писателя: в его рассказах и повестях «значительное место отведено дневникам автобиографического героя» [Ларионова 2017: 4]. Эго-литература, таким образом, представляет для Григорьева естественную, органичную область литературы, дающую богатый материал для его художественного творчества.

Список источников

1. [Гоголь 1952] — *Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. В 14 т. Т. 12. М.: АН СССР, 1952. С. 357.
2. [Григорьев 1980] — *Григорьев А.А.* Воспоминания / Под ред. Б.Ф. Егорова. Л.: Наука, 1980. 437 с.
3. [Григорьев 1982] — *Григорьев А.А.* Гоголь и его последняя книга // Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века / Подгот. текста, сост., вступ. статья и примеч. В.К. Кантора и А.Л. Осповата. М.: Искусство, 1982. С. 106–126.
4. [Григорьев 1999] — *Григорьев А.А.* Письма / Под ред. Р. Виттакера, Б.Ф. Егорова. М.: Наука, 1999. 473 с.
5. [Муравьев 1836] — *Муравьев А.Н.* Путешествие по святым местам русским. СПб.: В тип. III Е. И. В. Канцелярии, 1836. 156 с.
6. [Парфений 2008] — *Инок Парфений (Агеев).* Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле. В 2 т. Т. 2. М.: Новоспасский монастырь, 2008. 400 с.

Список литературы

1. [Алексеев 2000] — *Алексеев А.В.* Английский сплин и русская хандра // Русская речь. 2000. № 2. С. 106–111.
2. [Бойм 2021] — *Бойм С.Ю.* Будущее ностальгии. М.: Новое литературное обозрение, 2021. 680 с.
3. [Булычева 2017] — *Булычева А.В.* Бородин. М.: Молодая гвардия, 2017. 427 с.
4. [Виницкий 1995] — *Виницкий И.Ю.* Русская «Меланхолическая школа» конца XVIII — начала XIX веков и В.А. Жуковский: Автореферат дис. ... канд. филол. наук. М.: МПГУ, 1995. 17 с.
5. [Виттакер 2020] — Последний русский романтик: Аполлон Григорьев (1822–1864 гг.). М.: Common place, 2020. 672 с.
6. [Гуминский 2017] — *Гуминский В.М.* Русская литература путешествий в мировом историко-культурном контексте. М.: ИМЛИ РАН, 2017. 605 с.
7. [Дианин 2016] — *Дианин С.А.* Александр Порфирьевич Бородин и его музыка. Владимир: Транзит-ИКС, 2016. 196 с.
8. [Егоров 2000] — *Егоров Б.Ф.* Аполлон Григорьев. М.: Молодая гвардия, 2000. 216 с.
9. [Зорин 2016] — *Зорин А.Л.* Появление героя: из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 563 с.

10. [Карпов 1988] — *Карпов А.А.* Н.В. Гоголь и А.О. Смирнова // Гоголь Н.В. Переписка. В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1988. С. 115.
11. [Кьеркегор 2011] — *Кьеркегор С.* Или — или. Фрагмент из жизни / Пер. с дат., вступ. ст., коммент., примеч. Н. Исаевой и С. Исаева. СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии: Амфора, 2011. 822 с.
12. [Ларионова 2017] — *Ларионова А.Н.* Поэтика автобиографической прозы А.А. Григорьева: Автореферат дис. ... канд. филол. наук. Вологда: Вологодский государственный университет, 2017. 28 с.
13. [Милюгина, Строганов 2013] — *Милюгина Е.Е., Строганов М.В.* Русская культура в зеркале путешествий. Тверь: Тверской государственный университет, 2013. 176 с.
14. [Паперно 1999] — *Паперно И.* Самоубийство как культурный институт. М.: Новое литературное обозрение, 1999. 252 с.
15. [Роболи 2007] — *Роболи Т.* Литература путешествий // «Младоформалисты»: Русская проза / Сост. Я. Левченко. СПб.: ИД «Петрополис», 2007. С. 104–128.
16. [Середина 2016] — *Середина А.О.* Женский портрет в ранней прозе А.А. Григорьева и И.С. Тургенева // Ученые записки Орловского государственного университета. 2016. № 3 (72). С. 220–223.
17. [Тахо-Годи, Середина 2016] — *Тахо-Годи Е.А., Середина А.О.* Женский портрет, или теории «создания женщины» в ранней прозе Ап. Григорьева // Острова любви БорФеда: Сборник в честь 90-летия Бориса Федоровича Егорова / Ред.-сост. А.П. Дмитриев и П.С. Глушаков; под общ. ред. Е.П. Щегловой. СПб.: Издательство «Росток», 2016. С. 863–875.
18. [Шах-Паронианц 1899] — *Шах-Паронианц Л.М.* Критик-самобытник: А.А. Григорьев. СПб.: Типо-Литография А.Е. Ландау, 1899. 174 с.
19. [Шенле 2004] — *Шенле А.* Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий. 1790–1840. СПб.: Академический проект, 2004. 271 с.
20. [Юханнисон 2011] — *Юханнисон К.* История меланхолии. О страхе, скуке и печали в прежние времена и теперь. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 311 с.

Зоя Вячеславовна Гусева
Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова,
филологический факультет,
магистерская программа
«История русской литературы
XI–XIX веков»
zoya.guseva.2000@mail.ru

Zoia Guseva
Lomonosov Moscow State
University,
Faculty of Philology,
MA programme
in History of Russian Literature
from 11th to 19th centuries
zoya.guseva.2000@mail.ru